

Когда Игната назначили бригадиром полеводческой бригады, он стал работать рьяно, не жалея ни себя, ни других. Вставал рано, ложился далеко за полночь. Днями не слазил с Орлика, мотаясь по полям и фермам.

Однажды увидел возвращающихся домой колхозниц, пришпорил коня и галопом помчался за ними.

– Бригадир! – оглянувшись, воскликнула Вера.

– Ох, опозорилась... Казала ж я вам, – упрекнула подруг звеньевая.

Игнат обогнал женщин, остановил коня поперёк дороги и сурово прикрикнул:

– Разворачивайте кошёлки!

Колхозницы нехотя приоткрыли обвязанные платками сумки.

– Эх, тётя Маруся! Я думав, шо хоть у вас в звене порядок.

– Прямо-таки по десятку кочанов на семена взяли, – за всех оправдывалась Марфа.

– Растуды ж вашу мать! – вскипел Игнат. – Да ежели все в станице по десятку початков возьмут, шо останется от поля! А ну, вываливайте всё в мешок, – приказал он, бешено глядя на колхозниц. – А ты, Любка, шо в сторону отошла? – прикрикнул он на смутившуюся жену. – Это всех касается.

– Та не брала она, – вступилась за Любу звеньевая. – Всих на одну мерку не равняй...

Игнат взвалил на коня мешок с кукурузой и поехал в бригаду.

– Вот вас дожидаясь, – услужливо выскочил на встречу подъехавшему бригадиру Максим Рябчик, хлипкий, юркий мужичок. И худые ноги, и вытянутое вперёд тело с длинной индюшиной шеей, и маленькая головка с горбатым носом и блестящими пуговками глаз – всё напომинало в нём птицу. Он не ходил, а прыгал, и, казалось, взмахнёт руками и полетит.

– Нет порядка, Петрович, – бросая на землю мешок, сокрушённо вздохнул Игнат. – Сегодня опять проверим сторожей. Пойди домой поужинай – и обратно...

– Да я для вас всё сделаю, – с готовностью ответил учётчик, – но моя половина...

Он растерянно почесал хохолком торчавшие волосы.

– Зажми, щоб не пикнула! Знаешь: курица не птица – баба не человек! – хохотнул Игнат и уже строже сказал: – Давай, Петрович, без лишних разговоров... Я покурю, а ты скоренько домой...

Когда стемнело, прибыли на кукурузное поле. Дул свежий ветерок, и высохшие листья шумели так, словно кто их дёргал. Проверяющие насторожились. На дороге, у уснувшего хутора, что-то темнело. Игнат крадучись пробрался к подозрительному предмету, за ним, стараясь не шуметь, следовал Петрович. Подошли и увидели повозку, нагруженную початками. Хозяина возле неё не было: очевидно, он был ещё на поле. Наконец из зарослей показалась тёмная фигура, и мужчины бросились к ней.

– Караул! Спасите! – заголосил испуганно женский голос.

– Заткнись! Вот гадина! – выругался Игнат. – Сама ворует, да ещё и верещит, словно её режут. Вот сдам в милицию – по-другому завоюешь...

– Простите меня, – взмолилась женщина. – Больше не буду. Деток моих пожалейте... Ради них старайся...

– Детьми, сука, прикрываешься – свиней, небось, десяток... Кати, воруяга, возик в бригаду. Там разберёмся...

Женщина с плачем подхватила повозку и, горбясь от тяжести, потащила её по дороге.

Перед рассветом Игнат на цыпочках прокрался в спальню, быстро разделся, юркнул под одеяло и мгновенно уснул.

– Игнат! Не спи, – тормошила его Люба.

– Гм... потом... спать... – бессвязно бормотал он.

– Чуешь: я в положении...

Игната словно окатили колодезной водой: он вскочил и сердито притянул к себе жену.

– Не может быть! Когда?

– Не знаю, – мягко ответила женщина. – Может, и давно: я ж Машку кормила. Не тошнит, наверное, мальчик...

– Сдурела! Никого не надо! Своего угла нет! Нищету плодить! Завтра же ступай к бабке, – негодовал Игнат.

Когда он волновался, говорил быстро, нервно, заплёбываясь.

Солнце уже клонилось к западу, когда Люба на-
конец решилась пойти к знахарке. Бабка Екатерина,
или попросту Катька, жила у мельницы.

Запущенный сад. Заросший огород. Постуча-
лась – никто не ответил. Толкнула покосившуюся
дверь – в лицо ударил горько-пряный запах. Вез-
де: – лежали засушенные травы. Бабка Катька, ни-
зенькая, узкоплечая старушка, нюхала ароматный
пучок душицы и громко прихваливала:

– До чего ж ловкий! Це от головы...

Заметив гостью, радостно улыбнулась.

– Шо тоби, молодычку? – тонким голосом спро-
сила она.

– Та вот... – не зная, куда деться от стыда, робко
сказала Люба.

Бабка понимающе усмехнулась и отрицательно
покачала головой.

– Ой, молодичку! Лечу травами! Можу пошептать...

Цим дилом уже не занимаюсь: узнают – тюрьма.

– Бабуля, та я ж никому... вот вам принесла, –
краснея, произнесла Люба и повесила на стул шер-
стяной платок.

Старушка живо подскочила к беременной, ощу-
тила быстрыми, ловкими пальцами живот и огор-
чённо сказала:

– Выковырять-то можно, но живой уже... И пузо
гострячком – пацанок будет!

– Правда?! – воскликнула Люба, в один миг ре-
шив пойти против воли мужа. – Ну пойду я, бабуля,
– чему-то улыбаясь, негромко сказала она.

– А платок?

– Нехай вам на память останется...

Старушка перекрестилась и благодарно затара-
торила:

– Дай Бог тоби, молодычку, благополучия... За-
болеешь – приходи: вылечу. Я богато знаю... Я така...
– хвасталась растроганная баба Катерина.

Шёл нудный осенний дождь. Маша баюкала за-
кутаный в тряпицу кукурузный початок и пела:

– Баю, баю, баю.

Не ложися с краю,

А то серенький волчок

Возьме куклу за бочок...

Но вот быть матерью надоело. Девочка подста-
вила к печке стул, с него забралась на плиту, попро-
бовала вскарабкаться на лежанку – сорвалась, сле-
тела на припечек, толкнула трёхведёрный горшок.
Стук, треск – и по полу растекалась река, а по ней
весёлыми корабликами поплыла свёкла.

– Ой, господи! – испуганно ахнула Надежда, ког-
да в сенцы просочилась алая вода.

Из спальни высочил Игнат.

– Убы! Слазы! – на ходу выдёргивая из брюк ре-
мень, кричал он, но Маша забылась на лежанку и не
показывалась.

Надежда с трудом успокоила зятя и выпроводи-
ла его за дверь:

– Ступай, Игнат! Я тут сама как-нибудь разбе-
рюсь...

Она внесла металлическую ванну и ласково по-
звала внучку:

– Машенька, вставай! Будешь плавать...

Девочка осторожно выглянула. В больших гла-

зах – страх и ожидание. Поверила – и губы растя-
нулись в улыбку. Доверчиво протянула ручки – и
она в ванне. А Надежда вдруг запела:

– По тихому синему морю

Качает волна моряка...

Через несколько минут она высадила внучку из
ванны и предложила:

– Теперь давай убирать.

Девочка послушно наклонилась, схватила кусок
свёклы, протянула его бабушке и радостно улыбну-
лась: она спасена и бить её теперь никто не станет.

Сидя у окна, Маша листала книжку и вниматель-
но рассматривала картинки. Птицы. Деревья. Цве-
ты.

Вдруг заскрипела кровать, страдальчески за-
стонала мать, что-то плюхнуло, раздался странный
писк. Девочка оглянулась: на кровати измученная
мать – рядом с ней багово-синие тельца.

– Бабуля! Бабуля! – в страхе закричала она.

На крик прибежала Надежда. Она бестолково
металась по комнате и огорчённо восклицала:

– Ой, шо ж ты, дочка, наробыла! Ой, шо ж ты, доч-
ка, наробыла!

– Мама! Вы як Машка, – не выдержала Люба. –
Давайте быстрее ножницы, перережем пуповину...
та позовите хоть бабу Дуню.

Наконец пришла Надеждина свекровь, строгая,
молчаливая старуха. Она тщательно вымыла руки и
склонилась над новорождёнными. Перевязала пу-
повины младенцам. Обмыла, укутала их и, помол-
чав, скорбно произнесла:

– Не жильцы... Один, даст Бог, может, и выживет,
а другой... – она махнула рукой, заплакала и, что-то
шепча, вышла.

К вечеру умер Андрюша, наречённый так в честь
деда, а Володя ещё дышал.

Расстроенная и осунувшаяся, Люба ни на мину-
ту не выпускала из рук младенца, прижимала его к
себе, капала на посиневшие губки молоко, пытаясь
разжечь еле тлеющий огонёк жизни.

Шли дни. Недели. Месяцы. Володя вызывал
острое чувство жалости. Он, что слабый росток,
был бледен и худ. Как всякий больной ребёнок,
плохо ел, капризничал, плакал, но для взрослых ка-
ждое его движение: будь то улыбка, взмах ручки
и даже плач – всё было праздником.

– Солнышко моё! Единственный... Сладкий...
Роднулька... – ворковала над сыном мать.

Вечерами склонялся над ребёнком отец – пья-
ный сиживал у люльки до утра.

– Володька, наследник, не умирай! – рыдал он. –
Назло им живы. За моего брата Володьку. Эх, гады...

Забившись в уголок, Маша ревниво следила за
родителями, настойчиво дожидаясь того момен-
та, когда в комнате никого не будет, пулей летела к
брату, больно щипала его и вновь пряталась, насла-
ждаясь громким плачем: он тоже страдал, и это до-
ставляло ей радость.

– Шо такое? – недоумевающе спросила Люба у
наклонившейся над колодцем матери. – Спал. Вы-
шла – кричит. Не пойму, отчего так?

– Глаза разуй! – в сердцах сказала Надежда. –
Машка без ласки зачахла... Тешила её, а счас? Та
она когда-то Володьку придушит. Разве ж так мож-

но? И постоянной, – задержала мать бросившуюся к хате дочь, – послушай: на душе накопилось. Чего унижаешься? Ноги моешь – воду пьёшь... Так мужика не удержишь. Вин шо лис в бабий курятник забрался... Счас с Петровной тягается. – Надежда брезгливо сплюнула. – Тфу. Она ж втрое его старше. Не могу на вас дывиться... Рубайте акации и стройте. Может, тут боишься голос подать – в своём гнезде хозяйкой станешь. Эх, горе мени с вами, – всплакнула Надежда. – Одна несчастна. Другий на чужбине застряв...

«Опять... – огорчённо думала Люба, скрывая от матери заблестевшие слезой глаза. – А я-то надеялась... Видно, не судьба... Куда ж я с двумя?»

Может быть, потому что не сложилась семейная жизнь так, как хотелось бы, женщина всё чаще вспоминала Николая. И когда порой сквозь скованность прорывалось неистовое чувство, исступлённо ласкала мужа, впотьмах принимая его за возлюбленного.

Думая о своём, она машинально прижала забившуюся за ширму дочь, и в сердце шевельнулась такая жалость к ней, что она долго не выпускала девочку из рук, несмотря на требовательный зов сына.

– Неужели и тебя так? – вслух сказала Люба и, уловив непонимающий взгляд дочери, улыбнулась:

– Давай, Маша, собираться.

– Куда? – удивлённо спросила она.

– Володю отдадим. Тоби ж вин не нужен...

Девочка нахмурила белёсые бровки: отдавать братишку ей не хотелось.

– Нехай у нас живе, – решила она судьбу малыша.

– Так ты ж его не обижай. Вин слабый, маленький...

– Я не буду его щипать, – прижавшись к матери, пообещала Маша.

В эту минуту исчезла обида и ненависть к брату, и девочка, качая люльку, старательно пела:

– Баю, баю, баю.

Не ложися с краю,

А то серенький волчок

Возьме Вову за бочок...

Пантелей Прокопьевич наклонил к себе белокурую головку – и на худенькой шейке заблестал крестик.

– Ну вот, – задумчиво произнёс старик. – Нехай тебе Бог береже.

Он трижды перекрестил внучку и спросил:

– Молитвы знаешь?

Маша утвердительно качнула головой, стала ровно, как её учила бабушка Надежда, и скороговоркой проговорила:

– Спасибо Богу, Матери Божьей за хлеб, за силу, за святу воду.

– Я научу тебе настоящим молитвам, – улыбнулся Пантелей Прокопьевич. – Почитаю Библию, поведу в церковь, молиться надо. Бог хоть и на небе, но всё баче: кто лаетя, кто убивает, кто ворует – всех накажет...

Тут в сенцах упало ведро, стукнула дверь, и послышалась брань:

– Шоб ей очи повылазили... Шоб она сдохла, ведьма проклятушая... И де она взялась на нашу голову.

На кухню приковыляла Фёкла, неряшливо одетая, нудно бурчащая.

– Кацапка проклятушая, – костила старуха соседку. – Апельсину сглазила. Дою – молока немає. Гукай, старый, батюшку!

Слова деда и угрозы бабы Фёклы зародили в детской душе суеверный страх. Маше чудилось, что повсюду за ней следят чьи-то глаза. Потянулась к сахарнице – и тут же отёрнула руку. Подошла к иконам, долго рассматривала лики святых. Обычные лица. Добрые глаза. А почему-то страшно.

Сзывая верующих, монотонно звонил колокол. Пантелей Прокопьевич окликнул звонаря, убогого калеку Ванюшку, открыл церковь, зажёл несколько свечей, и по церкви разлился таинственный свет. Маша с удивлением глядела на входящих людей. Старухи. Убитые горем женщины. У двери расселись калеки, принимая от верующих подаяния.

– Подайте слепому, убогому, – жалобно стонет Федотка.

И когда звенит монетка, он пытается перекреститься культяпкой и благодарит:

– Спаси нас Господи!

Тут же, сбившись в кучу, судачат молодичи.

Наконец показался священник, отец Геннадий, здоровый, краснощёкий мужчина, красивый и статный. Поп освятил церковь и начал службу. Разговоры стихли. Женщины стали продвигаться вперёд.

Старик не спеша шёл по дороге. Рядом с ним прыгала Маша. Дурманяще пахло полынью.

– Ловкий край! – сами собой вылетели из уст старика эти простые слова, наполненные любовью к родной земле. Пантелей Прокопьевич окинул взглядом знакомый пейзаж. Зеленеющие поля. Толоки. Прилипшие к ерикам сады и хаты.

– Раньше тут было не так, – обращаясь к внучке, рассказывал старик. – Наши диды сюда пришли – тут одни лиманы, да камыш, да трава по пояс, да тьма всякого зверья... Вон там, на лобке, – Пантелей Прокопьевич указал на едва приметный холм, – построили курень. Огородились. Поставили вышки. Однажды снарядились казаки сопровождать обоз. На охране куреня осталось несколько казаков. Узнали про то лазутчики. И скоро побачив сторожевой: идут вражеские полчища. Забили тревогу. Бабы плачут. Схватили диток – и в церковь: молить Бога о спасении. Казаки ж взяли ружья, развели костры и стали вразной стрельять. Вылетели из плавни тучи комаров. Испуганно встрепенулась болотная птица. Бросились в заросли дикие кабаны, волки, лисицы. Бачуть казаки: поворачивает вражья сила назад. Гибнет в топких болотах, лиманах, реках.

На другой день казаки вернулись, а к ним иноверцы с поклоном: за выкуп просят родных пошукать.

– А чога вчера вы так тикалы? – поинтересовались казаки.

Они и рассказали: появился вдруг перед кордоном сам Пётр. На белом коне. С копьём в руки. А за ним стеной шло войско... В честь спасителя и кордон назвали... С тех пор богато воды утекло, – вздохнул старик. – Люди выкопали каналы. Осушили лиманы. Выкорчевали камыш. Разрослась станция...

Весело понукая лошадей и выкрикивая пошлые прибаутки, Фёдор и Петро продолжали вымещи-

вать глину. Мужики подносили её к хате. Женщины, покрывая саманные стены ровным слоем глины, звонко пели. У наспех сложенной плиты возились старухи. Невдалеке, под огромным раскидистым орехом, в окружении ребятни стоял Пантелей Прокопьевич. Он ловко мастерил детям качели.

– Катайтесь, – приказал старик детворе. – Нечего вам под ногами крутиться.

Пантелей Прокопьевич отошёл от ребят, машинально сорвал ореховый лист, помял его и поднёс к широким ноздрям.

– Ловко пахне, – пробормотал он, грустно глядя на разросшийся сад.

Эти могучие деревья: орехи, груши, яблони, вишни, сливы – были его друзьями. Свидетели его жизни, они старели вместе с ним, как и его близкие, умирали, но оставшиеся были по-прежнему прекрасны. А рядом с ними неизменно прорастала молодая поросль. Она тоже с годами набирала силу, мужала, тянулась к солнцу.

«Совсем як у людей, – подумал Пантелей Прокопьевич. – Только моих диток унесла голодовка та проклята война...»

А над садом вилась песня. То раздольная, как родные степи. То грустная, как само горе. То вдруг трещоткой вырывалась шуточная песенка. Она сметала с задумчивых лиц печаль, расправляла морщины, дарила людям радость.

– Славная качечка,
С хвоста рябесенька,
Сама гладесенька,
Попереди диток воде,
А самая восьмая ходе, –

старательно чеканя слоги, запевал Фёдор. Занчивалась одна песня – и начиналась другая, а в ней рассказ о казацкой доле, печальной и радостной, горькой и счастливой.

– Мыться, мыться, обедать! – изо всех сил горланил Игнат, стараясь перекричать народных певцов.

И только на речке пение наконец стихло, уступив место фырканию, шуткам, дикому визгу. После купания шумно и весело усаживались за столы, и в суматохе никто не заметил, как возле постройки появились двое, судя по одежде – городские. Отчаянно жестикулируя, красивый широкоплечий мужчина что-то объяснял своей спутнице.

– Митенька! – странным от волнения голосом вдруг крикнула Надежда и заплакала.

Игнат и Люба бросились к гостям, приглашая их к столу. Только теперь взоры людей обратились на приезжих, и рокошующим прибоем понеслись разговоры.

– Своих мало... – осуждающе буркнула Марфа, пододвигая к себе поближе миску с борщом.

– Ни рожки, ни кожи, – поддержала соседку Шура.

– Бедна Надька, – грустно заметила Мария.

– Такой красавец! Причарувала... – обращаясь к мужу, возмутилась Рая, здоровая краснощёкая женщина.

– Та брось ты... Колдун там, под юбкой, – лениво хохотнул Фёдор.

– Моя Ирочка, – громко представил Митя родственникам и знакомым жену. – Скрипачка. Музыкой очаровала и в плен взяла... – ласково прижимая к себе жену, рассказывал он.

Ирочка была на редкость хрупким созданием.

Рядом с мужем она казалась девочкой-подростком. Белокурые волосы беспорядочно металлись на ветру. Помада и румяна не смогли оживить мелкие черты бесцветного личика. На худенькой, плоской фигурке едва виднелись холмики груди.

Люба внимательно наблюдала за тем, как брат заботливо, словно дитя, усаживает жену, как подсовывает ей самые лакомые кусочки. Жалея брата, она по-женски завидовала этой слабой на вид женщине, сумевшей обворожить такого богатыря. Люба убрала со стола неухоженные, чёрные, потрескавшиеся пальцы с обломанными ногтями, не зная, куда их деть.

– Муха, муха в тарелку упала! – вдруг взвизгнула гостья и бросилась из-за стола. За ней вскочил Митя, догнал жену и стал упрашивать:

– Нехорошо, Ирочка, пойдём к людям!

– Не могу... – брезгливо выговорила она.

– Ирочка, потерпи ради меня: я ведь давно не был у родных...

– Ира, мы ж не виноваты, – взволнованно сказала подошедшая Люба, и глаза её наполнились слезами. – Простите. Мы вас так ждали. Один у меня братик на свете...

Она пыталась ещё что-то произнести, но не смогла.

Все снова собрались за столом, но сидели как на поминках: тихо, чинно, скорбно. Надежда, казалось, окаменела, и только алые пятна на лице и шее да искусанные губы выдавали её негодование.

Нет, не о такой невестке мечтала бессонными ночами она. Думала: народит от сына внучат, дружно проживут молодые в родной хате...

Стараясь сгладить неловкое молчание, Люба попросила Митю:

– Заспивай, братик, нашу...

– Мисяк на неби, зироньки сяют,
Тихо по морю
Човин плыве.
Шо за дивчина
Писню спивае,
А казак чуе,
Серденько мре, –

весь отдаваясь песне, словно женщине, грустно пел Митя. Когда звуки прекрасной мелодии растворились в воздухе, Надежда горько заметила:

– Ты ж, сынок, казак! Як ты можешь жить без родного краю?

– Скучаю, конечно, мама, – смущённо признался Митя. – Но ведь живу в столице. Строю дома-красавцы...

– Так ты тут строй, – перебила его мать.

– Нет, мама, – покачал головой Митя. – Что тут Ирочке делать? Бетховен, Моцарт, Глинка вам ещё не нужны. Не поймёте вы...

– Поймём, сынок, поймём...

– А я, Митя, – встрял в разговор подвыпивший Игнат, – бригадирю, наш председатель колхоза посылает меня учиться в Краснодар.

– Люба! – рассмеялись притихшие было колхозницы. – Не забудь нас, як станешь председателем.

Темнота вплотную подступила к дому и чернотой завесила окна. Забралась в спальню. Спряталась по углам в слабо освещённой комнате. Ночное безмолвие тревожило Любу, и она то и дело отры-

вალახ оу недописанного письма. Слова рождались сухие, короткие, кровоточили ревностью и обидой.

«Пишу уже пятое письмо, а от тебя ни слова», – выдавливая она очередную строчку и надолго задумывалась. По уже обозначившимся морщинкам медленно карабкался язычок керосиновой лампы, веселил усталые глаза, поднимался на седеющую прядь, прыгал на натруженные крестьянские руки, скользил по чёрным, выпирающим из-под потрепавшейся кожи венам. «Сообщаю тебе, Игнат, что Маша учится у Софьи Николаевны». Люба вновь подняла голову: вспомнила первое сентября.

Школа гудела, как улей. Повсюду носились дети, и только первоклассники, как желторотые птенцы, робко жались к своим родителям.

«А я и тут одна», – печально думала Люба, протискивая дочь к крыльцу, где в окружении малышей стояла старенькая учительница, невысокая, скромно одетая.

– Софья Николаевна, вот к вам дочку привела, – подталкивая к ней белобрысую коротышку, робко произнесла Люба.

– Любаша! Милая ты моя девочка! – радостно воскликнула учительница.

– Узнали, Софья Николаевна... А вы всё такая же...

Отгоняя навязчивые воспоминания, Люба хотела было встать из-за стола, но внезапный шум остановил её: за окном послышались тяжёлые шаги, кто-то нетерпеливо забарабанил в дверь.

– Не бойся: це я, – простуженно прохрипел Игнат, проходя в сенцы. С порога швырнул ненавистный чемодан и устало сказал:

– Всё... отучився... ни черта не понимаю. Сижу як чурбан.

Люба ласково обняла мужа и прошептала:

– Всё буде хорошо: ты умный, память у тебя отличная. А взялся за гуж – не говори, шо недуж: заспеют...

– Еле на ногах стою. Пешком от Протоки топал, – пожаловался Игнат.

– Так отдыхай... Вот молоко, пирожки с сыром...

Блаженно развальясь на стуле, Игнат с наслаждением жевал пирожок, поочерёдно подставляя жене замызганные резиновые сапоги. Он испытывал подлинное наслаждение, когда видел, как эта сильная, красивая женщина во всём униженно угождает ему.

«Значит, боится, боится и любит», – самодовольно считал Игнат, не замечая того, как сам постепенно становится жертвой безграничной женской доброты.

Был уже полдень, но Игнат всё ещё лежал на кровати: ныла раненая нога, вставать не хотелось. Прикрыв глаза, он незаметно наблюдал за детьми. Сгорбившись над тетрадкой, Маша что-то писала, а Володя в новом вельветовом костюме и такой же фуражке, чуть покачиваясь, стоял у кровати и боязливо рассматривал отца.

Волна отцовской любви захлестнула Игната.

– Сынок, – прошептал он и потянулся к ребёнку. Худое, бледное лицо Володи испуганно вытянулось, губы нервно подёргивались.

– Отвык от папки? Кто тебе такую фуражку сшил? – целуя сына, спросил Игнат.

– Дядя Глиша пошил мени хуяшку, а она на йоб не наязе, – тоненьким голоском ответил мальчик.

Он не выговаривал несколько букв, и его трудно было понять.

– А Машка як учится? – спросил отец у сына.

– Плохо, – вздохнув, ответил Володя.

Игнат встал с постели и подошёл к столу.

– Двойки, тройки, – перелистывая тетрадь, недовольно ворчал он. – Ну я тебя научу писать, – постепенно раскаляясь, перешёл на крик Игнат. Он схватил ремень, стал позади дочери и приказал:

– Переписывай!

Дрожащей рукой Маша взяла ручку, обмакнула перо в чернила и стала выводить буквы, но они получались кривые, корявые, выползали за строку, путались и падали. Игнату казалось, что дочь назло ему малякает, он размахнулся и изо всей силы полосонул её солдатским ремнём. Девочка вскрикнула и съёжилась, и Люба, спасая Машу, бросилась под удары.

– Не дам бить! Хочешь в дурочку её превратить! – кричала она.

Слёзы текли по её лицу, но мать их не замечала. Игнат швырнул пояс на пол. Сам битый не раз, он был убеждён, что ремень – отличный воспитатель. Но теперь, глядя на посиневшего от крика сына, на рыдающих жену и дочь, чувствовал себя неловко.

Игнат протянул было руку – Люба сжалась в комок и отодвинулась.

«Тяжело так жить, – думала она. – Боялась людской молвы, одиночества, а что нашла? Одна радость – дети, но и до них уже добрался...»

Как бы угадывая её мысли, Игнат прошептал:

– Я детей больше бить не буду. Прости, а Машке пообещай: закончит хорошо школу – возьму в Краснодар на каникулы...

В кровати завертелся Володя, захныкал, поднялся на ножки и стал звать:

– Мама! Мама!

Наверное, он никого не видел и не слышал, потому что его зрочки смотрели в одну точку, а ручки, как у слепого, постоянно шарили по воздуху. Люба подхватила с постели, подбежала к сыну и прижала его к себе.

– Всё... начинается, – с болью проговорила она. – Я здесь, родная, я здесь... Ну як ему помочь? – обращаясь к Игнату, спрашивала расстроенная Люба. – Надоела врачам. Твердят: слабый он, дистрофичный... Слово-то яке нашли. Питание, мол, уход... А я бачу: болен паренёк. Он хорошо ест, а его словно то же что-то ест. Як новолуние – не спит, мучается... Да шо я рассказываю? Сам ведь знаешь. К бабке Катерине обращалась. Каже: пошептать может. А ты, Игнат, не испугав сына?

– Не знаю, – угрюмо отозвался мужчина. – Почти каждую ночь воюю. Глаза сомкну – бомбы летят, дома рушатся, земля пылает... То я убиваю, то мене убивают... То я хороню, то мене хоронят. Я в братской могиле. Хочу забыться и не могу. Иногда зальёшь очи, шоб ничего не помнить...

– Эх, Игнат, – боясь обидеть мужа, мягко сказала Люба, – водка ведь не спасение. Беда. Горе. Погибель. И калек через неё, и смертей немало.

Наступила необычная для Кубани суровая зима. Казалось, снегопад никогда не закончится. Снег запылил ерики и лиманы, укутал дома и деревья, сказочно преобразил землю.

Примостив у кровати лампу, Люба читала роман Мопассана «Жизнь». Глаза тревожно бегали по строкам, сердце учащённо билось. Вчитываясь, она видела не Жанну, а себя. Вот Игнат грубо берёт её, обижает равнодушием. Вот изменяет, живёт с ней так, словно не видит в ней женщины. А ведь ей так мало надо. Понимание. Сочувствие. Ласковый взгляд. Любви она не просит. Нет, не дано ей, видно, любить и быть любимой... Люба погасила лампу и прижалась к детям.

– Родные, милые... – шептала она до тех пор, пока не уснула.

Утром невозможно было выйти из хаты: дверь отпиралась наружу, и снег намертво придавил её. Только к полудню Пантелей Прокопьевич прорыл ход, и когда ввалился в сенцы, запорошённый снегом, разруганный морозом, с инеем в бороде, то казалось – новогодний Дед Мороз пожаловал на порог.

– Умаялись? – благодарно глядя на свёкра, спросила невестка.

– Да, взмокрел, – неуклюже топчась на месте, ответил он. – До сарая, дочка, пробивайся: за коровку твою боюсь. Шо-то мычит. Як бы... – смущённо добавил старик.

– Я, батя, счас, – засуетилась женщина. – И спаси бо вам. А то замуровал нас снег.

Такого Люба ещё не видела: земля покрыта снежным одеялом. Шапки снега на домах и деревьях. Из причудливых сугробов торчат припудренные инеем ветки, вот алеет гроздь калины. Снег слепит, сверкает, серебрится...

Люба шаг за шагом продвигается к сараю. За ней остаётся снежный коридор. Всё медленнее и медленнее мелькает лопата, всё труднее и труднее сгибаться и разгибаться, отбрасывая снег. Но вот стихло мычание.

«Что там?» – с тревогой подумала женщина.

Не хватало сил отбросить последний ком снега, перешагнула через него и заглянула в сарай: рядом с Ночкой, дрожа и пошатываясь, стоит уже облизанный телёнок. Мокрая шёрстка курчавится, блестящие глаза удивлённо смотрят на вошедшую. Корова задом пытается заслонить новорождённого от хозяйки.

– Глупая ты, глупая! – смеётся Люба. – Отдай детёныша! Замёрзнет ведь!

Она снимает журку, набрасывает её на телёнка и бежит к хате. Её сопровождает грустное мычание.

Едва сошёл снег, Люба поехала к мужу. За окнами автобуса мелькали хутора и станицы, голые, чёрные поля, в низинах сверкали ерики и болота, кое-где зеленели озимые, вдоль дороги тянулись увитые гнёздами лесополосы. Из-за поворота вынырнула широкая и полноводная в эту пору Кубань. Сердце радостно и в то же время тревожно забило: скоро Краснодар!

В разлуке плохое забывается, вспоминается хорошее, и Люба таила трепетную надежду на это свидание вдали от дома. Она вынула из кармана маленькое зеркальце и, держа его в ладони, чтоб никто не увидел, стала рассматривать лицо. По высокому, побелевшему за зиму лбу птичками разлетелись чёрные брови. Из-под них блеснули карие глаза. Небольшой прямой нос. Алые, не знающие помады губы.

– Ещё не старуха, – довольно усмехнулась она, забыв, что прожито ещё так мало, а уже первое дыхание осени прикоснулось к ней.

В автобусе вдруг возникло какое-то движение: одни хватались за сумки, другие поправляли одежду. За окнами мелькали улицы Краснодара. На вокзале Люба растерялась и вышла из автобуса последней. Испуганно смотрела на пёструю, бурлящую толпу, стараясь отыскать в ней мужа.

– Маруся, убери свои кошелёчки: не на базаре, – грубовато заметил молодой мужчина, и Люба виновато наклонилась над тяжёлыми сумками. Их было три. Дома она, не задумываясь, связала бы их полотенцем и перекинула через плечо, но тут...

– Молодичка, что продаёте? – ущипнул её кто-то за плечо.

Люба подняла голову: рядом стоял нарядный, улыбающийся Игнат. За эти годы он возмужал, стал выше, шире в плечах, исчезла бледность, ярче, выразительнее стали черты лица.

Молодая женщина радостно бросилась к мужу, но её остановил его взгляд, который холодно скользил по её фигуре.

«Не нравится мой наряд», – догадалась Люба.

Стараясь выучить мужа, она отказывала себе во всём, и тем обиднее для неё была эта холодность. В глазах погас трепетный огонёк, и Люба, сгорбившись над корзинами, стала стягивать их полотенцем.

Дорога вела вниз, к Кубани. Было холодно. Стал моросить дождь. Без зелёного наряда улица, казалось, стыдилась своей наготы. Словно нарочно из-за домов высунулись глинобитные хатки, снимаемые студентами кухни-временки.

Наконец Игнат остановился. Люба сбросила с окаменевшего плеча кошелёчки и выпрямилась: впереди, плавно огибая город, извивалась красавица Кубань. В её правый берег упирался городской улицы. То там, то здесь темнели тополиные заросли. А за рекой, до самого горизонта, простиралась равнина.

– Смотри, Люба, – оживился Игнат. – Вот тут, у роши, я снимаю квартиру. В жару здесь хорошо! Зелено. Прохладно. И хозяйка у нас золото. Сама увидишь.

Их встретила хозяйка, худощавая крашеная блондинка. Она радостно бросилась навстречу гостю и, заглядывая ей в лицо, слащаво пригласила:

– Проходите, пожалуйста, проходите! Мы вас так давно ждём! Игнатушка так скучает! Проходите. Здесь ребята живут...

Люба вошла в комнату. Стол. Две кровати. На одной, прислонившись к подушке, полулежал юноша и читал книгу. Хозяйка холодно взглянула на квартиранта и укоризненно произнесла:

– Сергей, опять развалился. Сколько раз тебе говорить...

– Простите, Ольга Григорьевна, – смутился юноша, – забыл...

Он вскочил с измятой постели и помог гостье внести кошелёчки. Люба с благодарностью взглянула на парня. Он был юн. Некрасив. Большенос. Но по его лицу растекалась такая добрая улыбка, так ласково сияли его глубоко посаженные голубые глаза, что она сразу же почувствовала к нему расположение.

Ольга Григорьевна принесла пирог, Люба вынула из сумок колбасу, яйца, сало, хлеб, и все сели за стол. Хозяйка ела мало, зато много курила и пила лёгкое виноградное вино.

– Ешьте, тут всё домашнее, – робко приглашала её Люба.

– Я ем как птичка, – усмехнулась Ольга. – К чему полнеть, стариться не хочу.

– А у нас в колхозе, – тихо вставила гостя, – не поешь – косы не удержишь...

Сказала и расстроилась, чувствуя, что говорит не то.

Хозяйка снисходительно улыбнулась и спросила: – Любаша, а вам сколько лет?

– Двадцать девять.

– Я старше, а выгляжу моложе тебя. Это великое искусство – быть привлекательной... Тебе надо следить за собой.

Ольга гордо откинулась на спинку стула и задумалась. Игнат восхищённо следил за каждым движением хозяйки. Иногда он, словно бы невзначай, прижимался к женщине, и она отвечала ему едва заметным прикосновением, многозначительным взглядом. Казалось, они не замечали никого вокруг и вели любовные игры. Люба же не только видела всё, но и чувствовала всё то, что было скрыто за их движениями, взглядами, словами.

Она изо всех сил пыталась скрыть ревность, боль, разочарование, но румянец, пламенеющий на щеках, выдавал её волнение.

«Господи, только бы выдержать, только бы не заплакать, – думала она. – Только бы дожить до утра, а там уехать в станицу...»

На рассвете Люба была уже на вокзале.

Здоровые, сильные руки мелькали в мыльной воде, тёрли грязную бельё, а мысли бежали ещё быстрее. Зачем отпустила дочку к мужу? Ведь город. Сколько там опасностей! Кубань... Машины... Людские водовороты... Пропадёт девчонка!

Люба швырнула в таз полотенце и подняла голову: возле неё стояла заплаканная Маша.

– Доченька, – заволновалась Люба. – Шо случилось?

Маша бросилась к матери и зарыдала.

Как её обманули! Сначала устроили праздник. Звенела гитара. Возле неё, как пёстрая бабочка, вилась тётя Оля, угощала её конфетами и печеньем. Потом долго уговаривала её спеть или сплясать, но она отказывалась...

И только когда её попросил отец, Маша вышла из-за стола, нерешительно ударила ножкой раз, другой и, раскинув руки, как крылья, понеслась вокруг стола, притоптывая и подпрыгивая, кружась и приседая, ловя на себе восхищённые взгляды.

– Вот даёт! – похваливал её Сергей, и она, раскрасневшись от возбуждения, вертелась и вертелась по комнате.

«Какие все чудесные и добрые: и отец, и тётя Оля, и дядя Серёжа!» – радовалась она.

А ночью ей приснился жуткий сон: кладбище, лежащий в гробу Володя, бьющаяся в истерике мать...

– Папа, – в страхе потянулась к отцу, но рядом никого не было. Несколько минут лежала молча, потом встала и подошла к соседней кровати.

– Дядя Серёжа, где папа? Мне страшно! – всхлипывая, несмело тормошила она юношу.

– А, это ты... – наконец проснулся Сергей. – Ну что вышлошлись?

– Где папа?

– Где, где, – передразнил её парень. – Может, во двор вышел... Никуда твой папка не денется. Придёт! Вскоре на цыпочках пришёл отец.

– Где вы были? – сердито спросила его она.

– Понимаешь, ходил к соседу заниматься... – смущённо ответил он, надеясь, что её удовлетворит такое объяснение, но оно звучало неубедительно.

Вечером в парке гремел духовой оркестр. Отдыхающие прогуливались по тенистым аллеям, поднимались на горку, спускались к крошечному озеру. Было шумно, весело, но Маша ни на шаг не отставала от отца и хозяйки, вертелась у них под ногами, мешала им, следила за их движениями.

– Деточка! – с трудом скрывая раздражение, попросила её Ольга. – Побегай вон там, у озера, там интересно.

Маша бросилась было вниз, но потом остановилась и возвратилась назад. Её не заметили: тесно прижавшись, Игнат и Ольга страстно целовались.

«Понятно... Всё расскажу мамке... И любиться вам не дам!» – решила Маша и дёрнула отца за руку: – Не хочу туда!

– Она меня доконает... – возмутилась Ольга. – Ну, сделай хоть что-нибудь! Купи ей мороженое: пусть хоть чем-то занимается...

– Не задарите, – злорадно ухмыльнулась Маша.

– Да не обращай на неё внимания: ещё ребёнок... – пытался успокоить хозяйку Игнат.

– Ох, мой любимый, – ласково шептала Ольга. – Ты скоро уедешь – я без тебя погибну...

– Ну, дорогая, не преувеличивай...

Эти разговоры возмущали Машу.

«Покарай их Бог!» – со злобой думала она.

Ловила их взгляды, касания и удивлялась, как это хозяин, дядя Валера, ничего не замечает.

Утром остановила его у калитки – хозяин возвращался с ночного дежурства – и дрожащим от волнения голосом выпалила:

– Тётя Оля вчера целовала моего папку...

Он поднял на неё покрасневшие от постоянно недосыпания глаза и укоризненно покачал головой:

– Злая ты... Тётя Оля возится с тобой, а ты...

И сейчас, уткнувшись в материнский подол, Маша вспоминала своё пребывание в городе и громко плакала. Ей хотелось обо всём рассказать матери, но из груди вырывались одни всхлипывания.

– Мама, брось папку: вин тётю Ольгу любе... – только и смогла выдавить из себя девочка.

И хотя Люба ничего нового не услышала, но ей было больно: дочь всё понимает и жалеет её.

– Знаю, всё знаю, – горячо, словно оправдываясь, произнесла она. – С тобой, малюткой, уже уходила к маме. Тогда волновалась: вырастешь, спросишь, где папа... Шо скажу? Потом опять сошлись. Теперь уж до гроба...

Володька проснулся, сполз с кровати, протёр сухонькими кулачками глазёнки, натянул штаны, глянул по сторонам и вздрогнул от радости: на столе лежал кем-то забытый коробок спичек. Боясь разбудить сестру, крадучись, подошёл к столу, накрыл ладошкой коробок и сунул его в карман.

– Опять сахар воруеть! – прикрикнула на него проснувшаяся Маша.

Володька виновато вздрогнул и отпрянул от стола.

– Ни, не ив, – криво улыбаясь, оправдывался он.

Но Мария уже забыла о брате и лихорадочно одевалась. За окном кричали её друзья: рыжий Лёшка по кличке Помидор, вечно простуженный Толик, задиристый и драчливый, за это прозвали его Петухом, подруга Юлька, шустрая, говорливая девчонка.

– Сегодня гуляем свадьбу, – вваливаясь в комнату, сказал Толик.

– Не спеши, Петух! Я женюсь на Юльке, – покраснев, выпалил Лёшка.

– Всё я да я... – покачивая кудряшками, ломалась Юлька.

– Нехай сёдня невестой будет Машка.

– Та я ж целоваться не умею...

– Ну, наряжайся лучше, а вы, хлопцы, столы готовьте, – приказала Юля.

Наконец уселись. Стали пить «вино», красноватый алычовый компот, и, подражая взрослым, кричать «Горько!».

«Жених», вытягивая трубой толстые, жирные губы, неумело чмокнул раскрасневшуюся «невесту».

Володьке давно надоели эти «свадьбы», и теперь он нетерпеливо ёрзал на стуле, стараясь уловить момент, когда можно будет незаметно улизнуть из хаты. Наконец Володя юркнул в сад. Там вынул из штанин коробок, чиркнул спичкой и в испуге отбросил её в сторону. Озираясь, побежал к отхожему месту, рядом с которым стояла копна люцерны, а чуть поодаль, на настиле из брёвен, лежала обложка с дедом скирда сена. Мальчик надёргал сена, сбросил его в зарослях за нужником и, всё так же воровато оглядываясь по сторонам, чиркнул спичкой. Горящая сера отлетела и обожгла ладонь. Володя поспешил руку и снова вынул из коробка спичку. На сей раз она загорелась. Огонёк, казалось, прыгнул на сухую траву. Она вспыхнула разом так ярко, что мальчик испугался и отскочил назад. Язычок пламени обхватил кольцом нужник, переметнулся с него на люцерну, лизнул край скирды.

– Ё-моё, шось горит! – выглянул в форточку Лёшка.

– Не чую, – мотнул чубом Толик.

– Сопли утри, «не чую», – передразнил его Лёшка. – Вон дым столбом! Сматывайся, ребята!

Огненный факел поднимался над садом, разбрызгивая искры, треща и извиваясь. Казалось, сейчас запыхает всё: и дом, и деревья, и земля...

– Ратуйте, люди добрые! – кричала Фёкла и изо всех сил колотила палкой в медный таз.

Пантелей Прокопьевич застыл у окна с тарелкой рисовой каши, которую он тщетно пытался достать. На седой бороде повисли капли молока, рисинки, а он дрожащей рукой черпал кашу и проливал её на себя.

Со всех сторон с баграми и ведрами бежали люди. Став цепочкой, они подавали воду на крышу дома и сарая, чтобы спасти от огня хотя бы строения. Некоторые смельчаки, обливаясь водой, подбегали к пылающей скирде и выхватывали из неё охапки сена. Его тут же поливали, и оно, дымя, обугленными комьями валялось на земле. Дым стлался по траве, выедал глаза, и Маша, спрятавшись в зарослях орешника, то и дело вытирала слёзы, оставляя на щеках грязные полосы.

Игнат заглянул в свой кабинет и сердито сощурился: вот уже третий раз колхозницы перебивали комнату, а помещение по-прежнему казалось ему тёмным и неудобным.

«Сломать бы всё к чёрту та на новом месте правление построить, чтоб и не пахло этим Гузновым, – думал новый председатель колхоза. – А то вместо Игната Пантелеевича Иваном Ивановичем кличут. Всё заменю: мебель, плакаты... Хочу всё по-новому...»

Мария поймала его недовольный взгляд и усмехнулась:

– Робым на совесть, Игнат! Не знаю, шо тоби не нравитсь...

– Я тебе не Игнат, а Игнат Пантелеевич, – оборвал звеньевую председатель. – Скажу – и десять раз будешь белить...

– Ну уж уволь: не девочка, – вспыхнула колхозница.

Зная крутой, не терпящий возражений характер мужа, Люба пыталась защитит звеньевую:

– Игнат, замолчи: Мария тебе в матери годится.

Глаза мужа налились кровью, и Люба сжалась в ожидании потока ругательств, но в это время кто-то за окном истошно завопил:

– Пожар! Наш председатель горит!

Люба соскочила с телеги на ходу, покачнувшись, чудом удержалась на ногах и побежала к базкам, откуда неприятно несло гарью. Она остановилась у огромной, ещё дышащей теплом кучи золы и, задыхаясь не столько от бега, сколько от страха, срывающимся от напряжения голосом крикнула:

– Где дети?

Старики, сиротливо сидевшие на почерневших от копоти стволах, понуро опустили головы и, казалось, не слышали вопроса невестки. К ним подошёл Игнат, обнял родителей за плечи и тихо сказал:

– Чё пригорюнились? Сено вам привезу, а ребятня захавалась. Я б на их месте тоже...

– Да вот же вин, паразит! – с хрустом ломая тыквенные стебли, радостно закричала невестка Рая и, как котёнка, вытащила из-под огромного листа чумазого, заплаканного Володьку.

– Ну шо, паразит, будешь и теперь спички брать? – пробираясь по тыквенному полю, отчитывала она племянника.

Ей навстречу бросилась Люба и судорожно обняла сынишку.

– Хватай, целуй своё золото, я б его поцеловала... – отдавая ребёнку, неодобрительно сказала Рая и, обращаясь к Игнату, уже по-другому, кокетливо и ласково, произнесла:

– Магарыч, кумец, ставь! Из-за твоего дохлячка уси ноги ободрала, вон гляди, кумец! – бесстыдно задирая юбку, показывала она исполосованные раны ладные женские ножки.

– За Володьку, кума, ничего не жалко! – вдруг вспыхнув от внезапно возникшего желания, хохотнул Игнат и притянул к себе невестку.

Игнату как председателю везло: урожай зерновых был собран такой, что о нём заговорили и в районе, и в крае, а в газете появилась статья. Чтобы хоть как-то отметить это событие, он решил повезти передовиков на море.

Настроение с раннего утра у всех было праздничное. Несмотря на выедавшую глаза пыль, на грузо-

виках пели, перебарщивались шутками, смеялись... Люба тоже пела, изредка поглядывая по сторонам.

За бортом машины мелькали поля, луга, каналы, хутора, станицы. Ближе к морю грунтовую дорогу окружили заросшие тростником и камышом лиманы, с чернеющих чаш которых тут здесь, то там взлетали вспугнутые машинами дикие утки, гуси, кулики, цапли. Наконец кто-то радостно выкрикнул: «Море!» – и перед глазами колхозников раскинулась бесконечная гладь лазурного Азовского моря.

Возле берега все стали нетерпеливо спрыгивать с грузовиков: каждому хотелось стать поближе к этой чарующей красоте. Волны тихо накатывались на песчаный берег, ласково шевелили ракушки, водоросли и что-то шептали.

Кое-кто прямо в одежде бросился в воду. Один Игнат спокойно стоял у кабины грузовика и с улыбкой смотрел на резвящихся людей.

Когда отдыхающие чуть утомнились, председатель приказал женщинам накрывать на стол. Вскоре все сели завтракать, а Люба, заворожённая красотой моря, незаметно отошла подальше, сбросила ситцевое платье и побрела по отмели, постепенно всё глубже и глубже погружаясь в воду. Её тело, уже раздавшееся виришь, нежилось в прохладе и стало вдруг таким лёгким и гибким, что хотелось плыть и плыть в голубую даль. Волны целовали лицо, каждое движение доставляло радость и удовольствие, и Любе казалось, что она рыба: руки у неё плавники, ноги – хвост. Попробовала лежать на спине – получается. Попробовала не плыть, а шагать в воде – не тонет! Открытия следовали одно за другим, и она была по-настоящему счастлива. Люба не знала, сколько прошло времени, как уплыла в море. Наконец повернула к берегу. Он узкой полоской виднелся на горизонте.

От долгого плавания ноги у неё отяжелели, и чем быстрее она плыла, тем дальше, как ей казалось, отодвигалась земля. В какое-то мгновение ей стало страшно. «Утону», – подумала Люба, всё глубже опуская ноги, и вдруг ощутила дно. Она стояла на отмели. Отдохнув, поплыла к берегу.

А там, на берегу, шёл пир. Звенели стаканы. Произносились тосты. Бригадиры по очереди хвалили молодого председателя, и Игнату было приятно слышать эти речи, ибо он и сам был уверен, что спас хозяйство от разорения. Но радость и гордость подтачивали злость и ненависть к жене: она так внезапно исчезла, и все заметили это, а кое-кто, ехидно улыбаясь, уж несколько раз спрашивал, куда же делась его супруга, и бешенство, с трудом подавляемое им, не давало покоя. Увидев наконец в море жену, Игнат, скрывая нетерпение, зашёл в воду и поплыл. Приблизившись, глянул на неё зло и холодно, как на врага, и Люба сжалась, сердцем почуствовал беду.

– Вот сука! С кем была? Я его, гада, придушу! – взволнованно крикнул он.

– Я была всё время в море и не видела ни одного человека. Клянусь Богом, мамой, детьми, поверь, – задыхаясь от обиды, оправдывалась Люба.

Слёзы сливались с брызгами волн; тело стало вдруг тяжёлым, было трудно держаться на воде, глубина, казалось, тянула к себе...

– Видал сук, но таких ещё нет! – схватив жену за волосы, с ненавистью выкрикнул Игнат.

– Успокойся: я тебе верна, – клялась Люба, но чем больше говорила, тем жёстче и непримиримее становился взгляд мужа. Ей бы замолчать, а она всё оправдывалась, выводя его из равновесия.

– Я тебе, гадину, придушу. Признайся, шо мне изменила, тогда, может, и прощу, – требовал Игнат, наваливаясь на неё всем телом и толкая всё глубже в воду.

Люба бросалась в разные стороны, пытаясь вырваться из цепких мужских рук, иногда всплывая, кричала:

– Нет, Игнат, нет...

Вскоре её, чуть не потерявшую сознание, Игнат выволок на берег, и она долго лежала на песке, униженная и раздавленная горем. Когда ей стало легче, поднялась, оделась и долго сидела здесь же, у моря, до тех пор, пока не загудели машины. Забывшись в угол, Люба прислонилась к борту и закрыла глаза, но слёзы просачивались из-под ресниц и одна за другой катились по её лицу.

После поездки на море Игнат окружил жену таким безразличием, от которого жизнь превратилась в кошмар. Находиться рядом с ним было просто невыносимо. Любу постоянно знобило, трясло, к тому же бессонница замучила её. Женщина смотрела на спящего мужа и думала: «Как он мог так оскорбить меня, так унижить? За что? Что я ему плохого сделала? Во всём себе отказывала! Работала как вол!»

И чем больше думала, тем сильнее болело сердце. Оно бешено колотилось в груди, и казалось, что его стучание разбудит Игната, но муж равнодушно храпел, при каждом вздохе его располневшее тело раздавалось виришь, воздух клочкотал в гортани и с бульканьем и свистом вырывался через подрагивающие губы и расплзшийся по лицу нос.

Обида мучила её. Иногда Любе хотелось разбудить мужа и объяснитьсь. И, хотя она не раз давала себе клятву молчать, не оправдываться, не унижаться, всё равно Игнату ничего не докажешь, но оскорблённое самолюбие вновь и вновь толкало её на объяснения, всё более и более ухудшая их отношения. Жизнь стала такой тягостной, что, кажется, бросила бы всё и ушла на край света, если бы не дети...

– Игнат! Проснись! – всё же решилась разбудить она мужа. Сонный, он что-то бормотал непонятное, затем приподнялся и ошалело глянул на жену.

– Послушай, – робко произнесла Люба. – Не знаю, شو тебе там, на море, показалось, но ты у меня один. Я дала в церкви клятву и никогда не нарушала её. Не то шо ты...

– Замолчи! Вот уж надоела! – ненавидяще прошептал Игнат, схватив женщину за шею. – Понимаешь, задушу. Знаю теперь, яка ты святоша... Гулящая... Думав, шо бабы мене заражали, а это всё ты, ты... Ты мне противна. Больше не прикоснусь к тебе, зараза...

Пальцы его рук, судорожно сжимаясь, так сдавили шею, что Люба стала задыхаться. Спасаясь от удушья, она пыталась приподняться, вырваться, но нелегко было сбросить с себя грузное тело мужа. Наконец скатилась с кровати и, шатаясь, как пьяная, побрела к ерику.

Луна освещала узкую тропинку. Приклонённые к земле, тяжёлые кисти калины били по ногам, по-

кривая их холодными капельками росы. Стояла тишина. Только изредка слышался лай собак, да в зарослях камыша вскидывалась рыба.

Люба села на упавшую в воду акацию – дерево вздрогнуло, и по зеркальной глади побежали серебристые круги.

«Хорошо, спокойно здесь. Уйти бы в эту тишину навсегда...» – холодной змейкой выползла эта мысль, делая равнодушной и безразличной ко всему...

Но тут же горячая волна подступила к груди и растопила холод отчаяния: у неё есть дети, мать, и она им нужна.

В полдень Игнат приехал домой, чтобы пообедать и немного отдохнуть.

В хате никого не было, но он заметил спрятавшегося под покрывалом Володю и, решив поддержать игру, долго заглядывал под кровати, за занавески, сундук, пока сын не прыснул от радости:

– Вот я заховався!

Игнат прижал к себе сынишку и стал его целовать.

– Тю, папка, – попытался высвободиться из его объятий мальчишка. – Ты такой колючий! Ты такой вонючий!

Игнат ценил эти минуты уединения с сыном, когда можно было, не стесняясь, дать волю чувствам. Ему казалось, что рядом с ним уже взрослый, всё понимающий юноша, с которым можно обо всём поговорить по душам. Он усадил Володю за стол, сбросил с миски полотенце и довольно усмехнулся:

– Ну мать наготовила...

Поколебавшись, Игнат вытащил из-за сундука графин вишнёвой наливки, наполнил кружку и стал с наслаждением пить.

– Шо це? – спросил Володя.

– Так, сладенький компотик... – усмехнулся отец.

– Ну, дай мени, – протянул ручонку мальчик.

Игнат дал сыну кружку и одобрительно улыбнулся: вырос Володька! Несмотря ни на что вырос!

– А скоро ты женишься? – с любовью глядя на сына, шутливо спросил он.

– Ни, – задумчиво ответил мальчик, – ни, папка, – вновь повторил он, медленно подбирая слова. – Я так решив: понравится девочка, поживу с нею, як не буде бить, женюсь!

– Правильно, сынок, решив, – поддержал Володю Игнат. – Разберись хорошенько, прежде чем хомут на шею надеть.

Малыш вновь потянулся к кружке: вино и впрямь напоминало сладкий компотик. Вскоре глаза у него пьяно заблестели, язычок стал заплетаться, и ребёнок мог произносить только одну фразу, которая для Игната была самой сладкой и приятной:

– Папка, я так тебе люблю!

Неожиданно Володя замолчал, его голова бесильно свалилась на стол, лицо, и так бледное и худое, покрылось желтизной.

– Ах ты мой бедный слабый птенчик! – шептал Игнат, укладывая сына на кровать и заботливо укрывая одеялом. Он поцеловал Володю и уехал на работу.

Люба с порога окликнула сынишку, но её встретила мёртвая тишина.

«Не заболел ли?» – подумала она, бросаясь к кровати.

Ещё не глядя на сына, приложила ладонь ко лбу мальчишка, и руку обожгло холодом. Этот холод сковал движения женщины, заставил её содрогнуться, затем бросил в дрожь, и Люба, уже предчувствуя что-то страшное, сбросила с сына одеяло: на постели судорожно вытянулся Володя, его большие глаза были широко открыты и смотрели в потолок. На посиневших губах застыла кровавиная пена. Два тёмно-красных пятна залели на белоснежной наволочке.

– Володя! Шо с тобою? – сдавленно крикнула мать, схватив одеревеневшее тело и прижав его к себе. – Сыночек, кровинушка ты моя...

Не помня себя, прибежала с сыном в больницу, вломилась в кабинет хирурга и закричала:

– Спасите, Игорь Васильевич, моего мальчишка, спасите, умоляю, спасите...

Хирург взял безжизненное тело, положил его на кушетку и грустно вздохнул: было уже поздно, и он ничем не мог помочь этой обезумевшей от горя матери.

– Посидите, пожалуйста, в коридоре, – стараясь не глядеть на плачущую женщину, тихо произнёс Игорь Васильевич. – Вас проводит медсестра, а я вызову вашего мужа...

Володина смерть подрубила всех под корень. Люба как-то сразу постарела и опустила. Улыбка сошла с её милого лица. Тёмные волосы побелели. Карие очи потускнели от слёз. Лицо приняло такое озабоченное выражение, словно ей надо было сделать что-то важное, а что – она забыла...

Ничто её не интересовало, она только тщетно пыталась понять, как это Володя сам нашёл за сундуком вино, напился и погиб.

После похорон Люба возненавидела спиртное, пьяного мужа тоже ненавидела и боялась, что когда-нибудь не выдержит и убьёт его.

Каждую ночь к Надежде стал приходиться Андрей. Сначала он становился в углу, у двери, и стоял там невидимый глазу, но женщина чувствовала, что это он. Иногда пробирался даже к кровати и застыл у изголовья, а однажды шепнул:

– Ходим, Надюша, со мной...

Всякий раз, когда муж появлялся в комнате, она просыпалась от бешеного сердечного клёкота и так, в испарине, боясь пошевелиться и открыть глаза, встречала рассвет. Ей бы поговорить с ним, сказать: не мучай, мол, Андрюша, ни в чём не виновата я перед тобою, мне, мол, рано ещё туда: и детям нужна, и молодая...

Но ни говорить, ни двигаться она не могла. И только мысли одна страшнее другой пронеслись в голове. Женщина вспоминала год за годом, час за часом, стараясь понять, за что же ей такое наказание.

«Господи, – думала Надежда, – где же я так согрешила? Вроде не убивала, не воровала, детей и мужа любила... За что же мне такая кара? Почему так несчастны мои дети? Зачем ты взял моего внука Володю?»

Она обращала к Богу тысячи вопросов, молилась, простила, оправдывалась... А перед глазами стоял тот проклятый голодный год, тот вечер, когда прибежал на себя не похожий Андрей, вытащил её из хаты в сарай, чтоб, не дай Бог, не услышали дети, и, дрожая и оглядываясь, шепнул:

– Заскочил на минутку и опять в правление! Прोटряд в станице! На заре заберут всё... Припрятать трошки продуктов, щоб не сдохнуть, но никому ни слова: узнают – расстрел...

Надежда вспомнила, как сердце затрепетало от желания побегать к отцу, матери, сёстрам, чтобы сообщить эту страшную новость, чтобы спасти их, но потом её сковал страх и за себя, и за мужа, и за детей, и она долго ещё стояла, не двигаясь, словно пригвождённая к стене этим же страхом, понимая, что, смолчав, отречётся от всех родных, обречёт их на голодную смерть.

«Себя и детей я спасла, а душу... Это умершие в тридцать третьем не дают мне покоя... Вот за что расплачиваюсь...» – думала Надежда долгими бессонными ночами.

Она стала бояться темноты и частенько до утра не гасила лампу.

Бессонница и суеверный страх иссушили её, и только глаза, обведённые синью, стали ярче и поражали окружающих затаённой в них болью и обречённостью.

По вечерам к Надежде приходили подруги, игрой в лото и карты коротали время.

– Барабанные палочки! – весело выкрикивала Наталья, стараясь развеселить женщин. Её маленькое личико было по-прежнему миловидно, а выбившиеся из-под батистовой косынки чёрные кудряшки кольцами падали на чистый лоб, укрывали серёжками лицо и шею.

– Кончилась, проверяйте, – сухо буркнула Елена и, обращаясь к куме, уже по-другому, участливо, спросила: – Ну шо, опять Андрюша був?

Надежда грустно кивнула головой и пожаловалась:

– Не знаю, подруги, шо робить? И поминала, и в церкви была – приходе... Не хочу Любу тревожить: у ней и своего горя хватает, но чую: смерть рядом...

– Не обижайся, Надя, – грустно заметила Полина. – Соскучилась ты, видно, за мужиком. Вот и мерещится по ночам тебе Андрюша.

– Ну, бабоньки, если до мене мужики завалят, – вдруг хихикнула Наталья, но её тут же сердито оборвала Елена:

– Тут горе, а тоби всё хаханьки...

Надежда слегла. Теперь днями она лежала на кровати, не в силах подняться. Игнат присылал врачей, они осматривали больную и выписывали каждый раз новые лекарства, но женщине становилось всё хуже и хуже.

Силы покидали её. С трудом приоткрывала веки, редко разговаривала, отказывалась есть. Когда ей становилось чуть лучше, приподнималась и смотрела на посетителей скорбно и виновато: она боялась своей беспомощности, не хотела быть никому обузой, поэтому перестала бороться за жизнь. Иногда лежала так тихо, что всем казалось, что она умерла. Тогда подносили к её губам зеркало, оно запотевало. Но Надежда ощущала, как коптит лампадка, слышала, как плачут зажжённые подругами свечи, улавливала шёпот людей:

– Помирает...

– Не, мучается, бедна, а Господь её не забирает...

– Надо положить на пол, щоб отошла: тело просят земли...

Но эти разговоры уже не волновали её, и толь-

ко прикосновение дочери выводило Надежду иззабытья: сердце вновь начинало учащённо биться, хотелось жить, и она просила:

– Не плачь, Люба... Приведи скорее Машу: хочю попрощаться...

Больная умолкала, потом вновь просила привести к ней внучку.

Маша знала, что её ждуть, но не могла заставить себя пойти к умирающей: было страшно. Наконец преодолела страх. Когда переступила знакомый порог и справилась с волнением, увидела обложную подушками бабушку, её виноватую грустную усмешку, её всё понимающие глаза.

– Родная, я так тебе ждала... Ты ж у мене одна... – прошептала Надежда, и её глаза блеснули слезой.

«Как я могла трусить», – мысленно укорила себя Маша и, пытаясь оправдаться, вслух произнесла:

– Я ж, бабуля, борщ сварила, калиновый кисель... Вас сейчас накормлю – и вы поправитесь... – она зачерпнула чайную ложку киселя, но Надежда улыбнулась и отрицательно покачала головой:

– Не хочю, а когда-то я его любила...

– Бабуля, потерпите: скоро поступлю в институт, стану врачом и вас вылечу...

Маша говорила и понемногу сама начинала верить, что именно она спасёт бабушку от смерти.

Сначала Надежда внимательно слушала внучку и кивала головой, но вскоре обессилела и, как ни напрягалась, стала всё чаще подкатывать глаза: она на мгновение проваливалась в неведомый мир, а потом усилием воли возвращалась к жизни. Наконец, поняв тщетность своих усилий, попросила дочь:

– Люба, уведи Машу, побереги дитя...

Надежда приложила к губам белый носовой платок, с удивлением увидела на нём сгусток крови и опять виновато улыбнулась. У неё ещё хватило сил проследить за тем, увели ли внучку. И только тогда, когда девушка вышла в сенцы, больная вновь подкатила глаза. Сопротивляться смерти не было сил: её уносило куда-то вдаль, и было одновременно и страшно, и приятно. Её душа неслась туда, куда её звал Андрей.

После похорон Игнат чувствовал себя отвратительно: раскалывалась от боли голова, росло недовольство собой. Почему не попрощался с тещей? Почему не попросил у неё прощения? Ведь он её ужал.

Чтобы снять раздражение, выпил и теперь, сидя за столом, пытался поговорить с женой, наладить с ней отношения, но она молча подавала ему еду, наливала водку, уклоняясь от его рук и не отвечая на вопросы. Это выводило Игната из себя, он с трудом сдерживался, чтобы не схватить, не сжать, не ударить...

«Хорошую она придумала мне казнь, – злился мужчина. – Молчит, словно я не человек, а камень».

А ему так хотелось поделиться с ней своей болью, рассказать, как трудно быть председателем, как он устал от команд сверху: что и сколько сеять, сколько всего давать государству. Он чувствовал себя подневольным.

«Лакей, – презрительно думал Игнат. – А дай мне волю – моё хозяйство стало бы лучшим на Кубани. И колхозники меня не любят, втихомолку кличут бешеным. Дома ад. Одна радость – Маша...»

– Дочка, иди сюда! – позвал он.

Вышла из спальни девушка, красивая и стройная. Большие синие глаза смотрят смело и дерзко, на губах застыла презрительная усмешка.

– Алкашим понемножку, – громко сказала Маша и, оборачиваясь к матери, укоризненно заметила:

– Я б на вашем месте пол-литры об столб била... Мой муж не будет пить...

– Моя ты красавица, – пытаюсь обнять дочь, пьяно бормотал Игнат и, обращаясь к жене, уже по-другому, грубо и зло, произнёс:

– Не усмотришь девочку – голову оторву...

Маша, привыкшая к подобным сценам, горько усмехнулась и поделилась с родителями наболевшим:

– Учу историю и не пойму: развенчали культ личности Сталина, критиковали его, критиковали, а опять то же самое. Вот посмотрите газеты. – Она взяла с тумбочки кипу газет и стала их разворачивать.

– Хрущёв... Наш дорогой Никита Сергеевич... Наш любимый Никита Сергеевич Хрущёв... Везде только он, его речи, его портреты, хвалебные статьи о нём. Учу: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Что-то не верится... Надо каждому быть совершенством, а люди так далеки от этого...

– Да, ты права, – поддержала дочь Люба. – Вот с такими коммунистами мы построим... – презрительно кивнула она в сторону Игната. – Да они мать родную пропьют, какой там коммунизм... Учись, дочка, хорошенько, сдавай экзамены, поступай в медицинститут. Уезжай отсюда подальше... Может, хоть ты станешь счастливой.

Пантелей Прокопьевич выгнал корову на толоку и ужаснулся: луг был чёрный – за ночь кто-то распахал целинные земли, и до самого горизонта тёмной скатертью было покрыто поле. Вороны ходили по чернозёму, поедая личинок и червей.

– Вороги! – прошептал старик, и по его морщинистому лицу одна за другой покатались слёзы. Он понимал, что на этом поле уже ничего не посеют: так и будут лежать заветренные глыбы земли.

Пантелей Прокопьевич за долгую жизнь пережил много бед, но никто из его казачьего рода не опозорил себя, и теперь старик не знал, сможет ли смотреть людям в глаза.

– Сукин сын! Убью гада! – твердил он, возвращаясь домой.

Привязав Апельсину к сливе, вошёл во двор и в сердцах полосонул лозиною выходившего из дома Игната.

– Сукин сын! – кричал старый казак. – Коммунизму решил построить! Шо позоришь наш род? Разве не знаешь, шо у нас отобрали всё: и скот, и землю... Як чуть не отправили в Сибирь? Господи, одна коровка осталась, и ту сгубив... Як жить-то будем? Не Зинченко ты, не казак...

Игнат пытался оправдаться, но отец перебил его:

– Знаю, шо скажешь: приказали, мол, не мог ослушаться... Не можешь отстоять интересы людей – уйди, может, кто посмелее найдётся... Опозорив род... Скажут люди: дурак Иван Панченко продотрядом командовал, всё забрав у людей и голод устроив, а дурак Игнат Зинченко коммунизму строив, за-

пахав луга и последних коров, телят, овец сгубив... Любка, не выгоняй на толоку Ночку, – впервые повысил он голос на невестку, выведившую корову из база. – Побьют тебе бабы. Не показывайся, дочка, на улице...

Старик ещё что-то хотел сказать, но, не договорив, побледнел, схватился за сердце, стал падать. Игнат успел подхватить отца и отнёс его в хату.

Пантелей Прокопьевич не знал тогда и не мог знать, что это была не последняя беда, пришедшая на родную Кубань, что каждый новый руководитель будет ломать старое и строить жизнь по-новому, что скоро по приказу сверху пророют каналы, осушат лиманы, уничтожат животных, птиц, рыб, затем бульдозерами соскребнут чернозём, посеют в чеках рис, зальют поля водой – изменится климат. Станут летать над землёй самолёты, рассыпая химикаты, и заболает всё живое... Социализм. Коммунизм. Перестройка. Капитализм. Одни строят – другие разрушают. Сначала людей убивали за частную собственность, сгоняя в колхозы, а потом начнут настойчиво разгонять, но всё это будет потом, а сейчас люди будут плакать и убивать скот, заполнят мясом магазины и базары, будут продавать его за копейки, потому что есть своих кормилиц крестьяне не могли.

Отторгнутая мужем и многократно им обижаемая, Люба постепенно ушла в себя, в свою боль. Она всё реже и реже появлялась на людях, а если и заходила в магазины, то старалась быстрее что-то купить и уйти. Наталкиваясь на знакомых, улыбалась, но это была не прежняя радостная и искренняя улыбка, которая когда-то украшала её. Теперь губы кривились в грустной и безнадёжной усмешке. Глаза потускнели, словно выгорели на солнце. В них уже не блестела весёлая и лукавая искорка. Смуглое лицо покрылось морщинками. Чёрные волосы поредели и побелели. Фигура потеряла былые формы. Медленно переставляя ноги, Люба шла домой как на каторгу. Она боялась одиночества, грубости, равнодушия, однообразных дней и ночей.

«Почему я так несчастна?» – постоянно билась в мозгу одна и та же мысль. Кто виноват? Она? Он? Война? Водка? Женщина не знала. Ей было тяжело, но Люба скрывала своё настроение от дочери.

«Пусть живёт там, в городе, станет хорошим врачом, найдёт себе доброго мужа, – с затаённой надеждой думала она. – Дай Бог, у неё будет другая, счастливая и долгая жизнь».

Днём, когда не было Игната, Люба уходила на кладбище и подолгу сидела у дорогих могил.

Вокруг была тишина. Покой. На ухоженных могилах цвели ромашки. На цветах жужжали пчёлы. Туда-сюда по стеблям растений бегали муравьи. Пригревало солнце, и Любе хотелось остаться здесь навсегда, рядом с теми, кого любила и кто любил её.

Арба медленно продвигалась вперёд. Позади неё плелись Игнат, Маша, Митя, родные и знакомые. На телеге, чуть покачиваясь, лежала Люба. Лёгкий ветерок ласкал её поседевшие волосы, и лучи солнца чуть розоватили бледное, спокойное лицо.

Было лето. Цвели маки.